

сколько о пробуждении и борьбе страстей в душе человека. Связывают указанное стихотворение и рассказ Чехова мотивы сна и пробуждения, а финалы сходны тем, что в душе героя, при кажущемся сне, все же продолжает «шевелиться древний хаос»; и в том, и в другом произведении подчеркивается, что лучше этот хаос не будить. Кроме того, пейзаж и в стихотворении, и в рассказе не играет простой роли фона для разворачивающихся событий. Он психологичен, сам является действующим лицом, активно участвует в происходящем, отражая стихию страстей, охватывающих героев. Обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что рассказ А.П.Чехова «Ведьма» представляет собой своеобразное «стихотворение в прозе», проникнутое тем же лирическим чувством, что и произведение Ф.И. Тютчева.

С.Ю. Николаева

«ГЛАГОЛЫ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» В РАССКАЗЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОРОВ СЫН»¹

Выстраивая концепцию жизненного пути человека в книге «Круг чтения», Толстой особенно много размышлял над вопросами рождения и воспитания человека, уделял большое внимание начальным этапам его жизни. Акцент делался на нравственном, духовном рождении и формировании личности, и эта смысловая доминанта всей книги задавалась первым недельным чтением первого тома – рассказом «Воров сын», переработкой лесковского «рождественского» рассказа «Под Рождество обидели». Идея данного произведения состоит в том, что физическое и нравственное рождение человека не тождественны друг другу, что последнее может осуществиться только в «ослиных яслях» веры и милосердия других людей. В толстовской интерпретации лесковского текста на первом плане оказался именно этот аспект.

Характер толстовской редакции весьма примечателен. Толстой не просто сокращает обширный лесковский текст, он выявляет лесковскую и свою собственную концепцию человека, оттачивает изобразительно-выразительные средства, соотнося их с жанром народного рассказа-притчи и евангельскими мотивами. Пересечение и взаимодействие творческих интенций Лескова и Толстого происходит на разных уровнях художественного произведения: жанровом, сюжетно-композиционном, образном, рецептивном, нарративном.

Изначально текст Лескова имел двойственную жанровую природу: это одновременно рождественский рассказ, что явствует из заглавия («Под Рождество обидели»), и бытовая новелла, по стилистике тяго-

¹ Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ (проект № 04-04-00300а «Книга Л.Н. Толстого «Круг чтения»: проблематика, источники, текстология»).

теющая к очеркам «натуральной школы», что явствует из подзаголовка («Житейские случаи»). Толстой поставил перед собой несколько иную задачу, нежели Лесков. Лесков обращался к читателям, которые хотели бы «со Христом быть», и проповедовал любовь не только к близким людям, но и к врагам, учил видеть в них «братьев» и прощать их, особенно под Рождество: «Не судите, да не судимы будете». Лесковский рождественский рассказ приобрел при этом оттенок сентиментальности.

Мысль Лескова была не чужда, конечно, Толстому, который в «Круге чтения» многократно говорил о христианской любви человека к человеку. Но Толстой специально предназначал свой рассказ для второго издания «Круга чтения» (в первом издании произведение Лескова было помещено практически без изменений), где морально-дидактический материал был структурирован в соответствии с ежедневными чтениями и их тематикой, а материал недельных чтений поэтому тяготел к высокой художественности и почти исключал прямое назидание. Поэтому дидактика Лескова во второй редакции толстовской книги оказалась избыточной, и лесковский рождественский рассказ подвергся значительной правке-переработке. В малой эпической форме Толстой выразил романическое содержание, изложив биографию героя от рождения до смерти и описав при этом его нравственное перерождение, счастливый брак и праведничество. Всеми уважаемый человек оказался в прошлом «воровым сыном» – этот авантюрный сюжет, помещенный в тесные рамки небольшого рассказа, раздвигает пространственно-временные границы жанра, усиливает идейно-нравственный и художественный потенциал произведения, превращает его в притчу.

Различие в жанровой природе лесковского и толстовского произведений обусловило разницу в структуре повествования, в способах организации диалога между автором и читателем. В частности, Толстой до минимума сокращает экспозицию рассказа (чеховская школа) и устраняет посредника между читателем и героем. Отдельно существующего повествователя у него фактически нет, повествование почти сразу же передается главному герою, что придает особую психологическую достоверность повествованию: «Собрался в одном городе суд присяжных. Были присяжными и крестьяне, и дворяне, и купцы. Старшиной присяжных был почтенный купец Иван Акимович Белов. Все купца этого уважали за добрую жизнь: и честно вел дела, никого не обманывал, не обсчитывал и людям помогал. Был он старик, лет под 70. (...) Только хотели начать судить, Иван Акимович встал и говорит судье: «Простите меня, господин судья, я не могу судить»¹.

¹ Толстой Л.Н. Круг чтения: В 2 т. М.: Политиздат, 1991. Т. 1. С. 28. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

В рассказе Лескова экспозиция весьма развернута: автор стремится мотивировать необходимость обращения к теме христианской любви, греха и прощения, убедить читателя в том, что описываемые события могут затронуть любого человека¹, приводит в пример своего приятеля и лишь в качестве авторского отступления включает в повествование о приятеле вставную новеллу о «воровом сыне», которая и привлекла внимание Толстого. В дальнейшем сюжетосложение у Лескова сохраняет авантюрно-приключенческий характер: описывается воровской заговор, тщательно обдуманый план грабежа, дается мотивировка обращения к ребенку в качестве помощника в воровском деле, обманым путем дитя забирают из-под материнской опеки: «Один вор, бессемейный, говорит другому, семейному: – Я хорошее средство придумал: у тебя есть сынишка пяти годов – он еще маленький, и тельцем мягок, – он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем – мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество – скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдём все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою, и дадим ему скрытый фонарь с огнем, да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает, а мы станем таскать, да все и повытаскаем, а потом опять дитя само подпояшется, – мы и его назад вытащим и поделим все на три доли с половиною: нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусок, – пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится» (196).

Толстой, в отличие от Лескова, все внимание сосредоточивает на психологии и нравственной характеристике героев: «Вот пришел отец домой, кличет меня. Мать говорит: «На что тебе его?» – «Значит, надо, коли зову». Мать говорит: «Он на улице». – «Зови его». Мать знает, что, когда он пьяный, с ним говорить нельзя, исколотит. Побежала за мной, кликнула меня. И говорит мне отец: «Ванька! ты лазить горазд?» – Я куды хошь влезу.– «Ну, говорит, идем со мной». Мать стала было отговаривать, он на нее замахнулся, она замолчала. Взял меня отец, одел и повел с собою. Повел с собою, привел в кабак, дали мне чаю с сахаром и закуски, посидели мы до вечера. Когда смерклось, пошли все – трое всех было – и меня взяли» (29).

Далее лесковский рассказ отличается от толстовского только формой повествования: у Лескова воссоздается точка зрения сторон-

¹ Лесков Н.С. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Худож. лит., 1988. С.194. Далее ссылки на рассказ Лескова даются по этому изданию в тексте.

него наблюдателя, объективного свидетеля и оценщика событий, Толстой же повествование ведет от первого лица, с установкой на устную речь, с использованием сказовых форм, более органичных для жанра «народного рассказа»: «Пришли мы к этому самому дому купца Белова. Тотчас обвязали меня одной веревкой, а другую дали в руки и подняли. «Не боишься?» – говорят. – Чего бояться, я ничего не боюсь. (...) – Вот посадили они меня до оконца, пролез я в него, и стали они спускать меня по веревке. Стал я на твердое и тотчас стал ощупывать ручонками. Видать ничего не вижу, – темно, только щупаю. Как ощупаю что меховое, сейчас к веревке, не к концу, а к середине навязываю, а они тащат. Опять притягиваю веревку и опять навязываю. Штуки три таких чего-то вытащили, вытянули к себе всю веревку, значит будет, и потянули меня опять кверху. Держусь я ручонками за веревку, а они тащат. Только потянули до половины: хлоп! Оборвалась веревка, и упал я вниз. Хорошо, что попал на подушки, не зашибся. – Только в это самое время, как я после узнал, увидел их сторож, сделал тревогу, и бросились они бежать с наворованным» (29).

Читатель толстовского рассказа видит эту сцену глазами испуганного ребенка, сочувствует и сопереживает. Краткость текста позволяет Толстому усилить динамику происходящих событий, подчеркнуть драматизм ситуации: «Они убежали, а я остался, ушли они. Лежу один в темноте, и страх на меня нашел, плачу и кричу: Мама, мама! мама, мама! (...) Стал меня полицейский спрашивать (...). А Белов старик и говорит полицейскому: «Бог с ним. Ребенок – душа Божья. Не годится ему на отца показывать, а что пропало, то пропало» (29).

В рассказе Лескова сцена «разбирательства» гораздо более протяженная во времени и содержит множество открыто дидактических, моралистических фраз: «А купец говорит: – Нет, не так: дитя – молодая душа неповинная, он не добром в соблазн введен – его выдать не надобно, а прибрать его надобно; не обижайте дитя и не трогайте: дитя – божий посол, его надо согреть и принять как для господ. (...) Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика... Бог с ним совсем, что у меня пропало, они меня совсем еще не обидели, а это дитя ко мне бог привел, вы и молчите, может быть, оно у меня и останется. И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил, и он у купца и остался, и купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе, и вышел из мальчика прекрасный, умный молодец и все его в доме любили» (197-198).

Толстой избегает назидательности, он словно бы только фиксирует факты и передает немудреный диалог маленького мальчика с незнакомыми людьми, который и производит сильнейшее впечатление именно своей простотой, безыскусностью: «Хороший был по-

койник, царство небесное. А уж старушка его еще жалостливее. Взяла она меня с собою в горницу, дала гостинцев, и перестал я плакать: ребенок, известно, всему радуется. Наутро спрашивает меня хозяйка: «Хочешь домой?» Я и не знаю, что сказать. Говорю: да, хочу. «А со мной оставаться хочешь?» – говорит. Я говорю: хочу. «Ну и оставайся» (30).

Дальнейшую судьбу «подкидыша» Лесков описывает гораздо подробнее, чем Толстой: «А у купца была одна только дочь, а сыночек не было, и дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилася. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене:

– Слушай, пожалуйста, дочь наша дospelа таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять, а для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело сурьезное, особливо как мы люди с достатками и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое, и тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет. (...). В человека не влезешь ведь: загубим ведь мы девку как ясочку и будем потом и себя корить и ее жалеть, да без помощи. (...) обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. (...) Согласились так и повенчали молодых; а старики дожили свой век и умерли, а молодые все жили и тоже детей нажили и сами тоже состарились. (...) А жили все в почете и в счастии» (198).

Толстой предпочитает все перечисленное Лесковым оставить «за кадром», но не потому, что считает незначительным или неинтересным, а потому, что рассчитывает на сотворчество воспринимающего читательского сознания. В этом также сказывается школа Чехова, приучившего русскую литературу к подтексту, недоговоренности, доверию к читателю: «Так я и остался. И остался, остался, так и жил у них. И выправили они на меня бумаги, вроде подкидыша, приемышем сделали. Сначала жил мальчиком на посылках, потом, как стал подрастать, сделали они меня приказчиком, заведовал я в лавке. Должно быть, служил я недурно. Да и добрые люди были, так полюбили меня, что даже и дочь за меня замуж отдали. И сделали они меня заместо сына. А помер старик – все имение мне и досталось» (30).

Знаменательно отличие финала толстовского рассказа от лесковской концовки. Лесковский рассказчик дает четкую нравственную оценку всему произошедшему: «Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили, ...все к нему относились с почтеньем по-прежнему, как он своею доброю жизнью заслуживал» (198). Рассказ Толстого завершается монологом главного героя («Так вот кто я такой. И сам вор и вора сын; как же мне судить людей. Да и не христианское это дело, господин судья. Нам всех людей прощать и любить надо, а если он, вор, ошибся, то его не казнить, а пожалеть надо. Помните, как Христос сказал») и краткой репликой повествователя, обращен-

ной к читателю: «И перестал судья спрашивать и задумался сам о том, можно ли по христианскому закону судить людей» (30). И Лесков, и Толстой считают, что доброта человеческая, милосердие созидательны, они могут преобразить человека, превратить вора или злодея в праведника. Главным для человека является не физическое рождение, а нравственное перерождение. Иначе говоря, Лесков и Толстой вводят в свои произведения пасхальное начало, первый – эксплицитно, второй – в подтексте.

В рассказе Лескова ряд событий, судьбоносных для героев, происходит не только под Рождество, но и во время Великого поста, и на Пасху. На начало поста, например, приходится история с несчастным пьяницей-«портнишкой», укравшим чужую шубу, и его голодающей семьей. Великий пост – время нравственной, духовной работы над собой для всякого христианина. Рассказчик и хозяин злополучной шубы обретают душевное спокойствие только тогда, когда находят в себе силы простить провинившихся, обидевших их людей (204).

Толстой в своем рассказе не морализирует открыто. Он выражает свою концепцию, выбирая один из трех сюжетов, контаминированных у Лескова в одно целое. Толстой отказывается от слишком натуралистического сюжета о пьяном «портнишке», не затрагивает историю лесковского «приятеля», ставшего жертвой воров, но останавливает свое внимание на сюжете, позволяющем целостно проследить путь жизни человека. Писатель показывает в процессе развертывания сюжета действенность христианской морали: «ворова сына» в начале его жизненного пути простили добрые люди, и из него вышел добрый человек. Если бы это прощение не состоялось, судьба его была бы иной...

И еще одно умозаключение Лескова не прошло мимо внимания Толстого, но реализовалось в толстовской книге по-своему. В конце своего произведения Лесков предлагает читателю выбрать, с кем он хочет быть: «с законниками ли разноглагольного закона или с тем, который дал ... «глаголы вечной жизни» (205). Перед нами не просто каламбур. По сути дела, это противопоставление Закона и Благодати. Лесков полемизирует с «законниками», «книжниками и фарисеями», указывая православному читателю на единственно верный путь жизни – Благодать, любовь к людям, смирение, которые и ведут в Вечность.

Толстой в развитие лесковской мысли в чтении на 8 января, которое непосредственно следовало за недельным чтением «Воров сын», он поместил серию афоризмов на означенную тему, кульминационным среди них представляется отрывок из сочинения Ламеннэ: «Народ (...), освобожденный от того, что Христос называет ослеплением богатства, довольный хлебом насущным, просящий у Отца небесного лишь того, что Он дает малым птицам, которые не сеют и не

жнут, – народ живет истинной жизнью, жизнью сердца больше, чем прочие люди, погруженные в желания и заботы мира сего. (...) Христос восторжествовал в народе; народ основал Его царство в мире, и народом оно будет в нем распространяться; народом будет рождена новая жизнь» (30-31).

Это своеобразный эпилог Толстого к «лесковскому» сюжету, заключающий рассказ «Воров сын» в особую композиционную рамку. Предварялся рассказ чтениями на 6 и 7 января, посвященными добросердечию: «Святой не имеет непреклонного сердца. Он приравнивает свое сердце к сердцам всех людей. К добродетельному человеку он относится как к добродетельному, а к порочному – как к человеку, способному к добродетели»; «Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия, запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным». Радостной оказалась судьба «ворова сына», так как люди поступили с ним не по Закону, а по Любви.

М.М. Кедрова

Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ: ПОИСКИ ГАРМОНИИ НЕБЕСНОГО И ЗЕМНОГО

Н.А. Бердяев художественные открытия порубежной эпохи конца XIX – начала XX века охарактеризовал как «культурный ренессанс», включающий в себя пробуждение философской мысли, религиозные искания, расцвет поэзии и обострение эстетической чувствительности. «... Главную роль в пробуждении религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре»¹, по его утверждению, играл Д.С. Мережковский как основатель эстетики нового искусства «божественного идеализма».

Символизм представляет собой, прежде всего, философско-мировоззренческую категорию. Для него было свойственно напряженное осмысление противоречивой, быстротекущей жизни и чувство острой, трагической ответственности за общую судьбу мира. Исходным моментом теории символизма стали неохристианские искания Мережковского, тяга к спасительному Божественному духу.

И.А. Есаулов называет христоцентризм «важнейшим атрибутом христианской культуры как таковой»². Однако архетипичность «откровений христианства» в русской литературе и культуре резко актуализируется в переходную, кризисную стадию их развития. Мережковский остро ощущал «болезненный, неразрешимый диссонанс» своего времени: «самый крайний материализм» и «самые страстные идеальные по-

¹ Бердяев Н. Русская идея // Русская литература. 1991. № 3. С. 91.

² Есаулов И.А. Пасхальность Русской словесности. М., 2004. С. 12.